

Ч. А. Островский

14/07-88

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
Г. КОСЦА

2 «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 14 июля 1988 г.

КОМСОМОЛ: ПОКОЛЕНИЕ В ЛИЦАХ

УДИВИЛО то, как долго и тщательно отбирал он фотографии для своей книги. Родные прислали из Шеняговки снимок 25-го года, Новиков, верный друг Петрусь — Петушок, получили задание разыскать в Харькове негатины, тоже старый, с трудом, но нашел — не проше ли было сфотографироваться заново? И почему именно эти подробности вспоминает сейчас Петр Николаевич Новиков о своем великом друге? Не столь уж, показалось, и существенные.

Торопливость — мать поверхностности. Вот как ответил сам Николай Островский на этот вопрос: «Я не признаю болезни и разрушений, нанесенных моему внешнему облику». Он искал фотографии до болезни. Он знал: всего за несколько лет болезнь выпрямила до неподвижности его здоровое, гибкое тело, иссушила его живое перемещающееся лицо, заострила до прямолинейности весь его облик, убрав полутона. «Обертон», как скажет позже мне Евгений Габрилович.

«Николай Островский лежит на спине, плашмя, абсолютно неподвижно. Одежда обернута кругом длинного, тонкого, прямого столба его тела, как постоянный неснимаемый футляр. Мумия».

Но в мумии что-то живет. Да. Тонкие кисти рук — только кисти — чуть-чуть шевелятся. Они влажны при потяжке...

Живет и лицо. Страдания подсушили его черты, стерли краски, заострили углы... Жесткое точное описание это принадлежит Михаилу Кольцову. Именно с очерка Кольцова в «Правде», в 35-м году, началась всеобщая, а потом и мировая слава Николая Островского. Он не мог не быть благодарен Кольцову. Но его друг Новиков вспоминает сейчас, как больно задела Николая это слово — «мумия». Он будто предчувствовал время, когда для многих он и в самом деле станет мумией. И как мог сопротивлялся этому.

Однажды, недовольный некоторыми семейными сценами романа, один из критиков того времени написал, что они, эти сцены, способствуют «разжижению гранитной фигуры Павки Корчагина». Островский назвал статью «вульгарной»: «Сердечно болел, однако отвечу ударом сабли».

Гранит годится для памятника. А он хотел, чтоб мы чувствовали его живым.

Он уже работал над второй частью романа, но нет-нет да и просил прочесть ему тот или иной эпизод из давнего томового к печати. Мария Барц, одна из добровольных секретарей, оставила нам то, что его беспокоило: «По-человечески ли получилось? Не лубочно? Не слишком ли ортодоксален Павел Корчагин? Не плакатен ли?»

Он будто спрашивал, что ортодоксальность, плакатность и лубочность закроют от многих его самого.

Недавно по телевидению была передача, посвященная Вячеславу Федорову, блестящему врачу-офтальмологу и не менее блестящему организатору. Менеджеру от медицины — так его на западный манер часто называют. И выглядел он не только суперменом того же типа — улыбка, подсчетом прищипы, скачет на собственной лошади, дает интервью, сидя

Таким, каноническим, кажется мне и известный портрет Островского кисти художника А. Яр-Кравченко. «Мне первому, — писал он, — и единственному выпала честь запечатлеть образ выдающегося писателя». Помню, прочтя эти строки, остро пожалела, что единственному — портрет больше походит на посмертную маску. Хотелось же разглядеть лицо.

Спрашиваю сейчас тут, в редакции, Петра Николаевича Новикова, как он оценивает портрет. И слышу в ответ быстрое: «Тарелка». Петр Николаевич вообще быстр, напорист в речи, не по годам напорист и быстр, но что за тарелка? «Да лицо, как тарелка! Плоское, понимаете?». Теперь понимаю.

Вот почему Николай Островский так долго и тщательно собирал свои фотографии до болезни — он не хотел, чтоб внешнее приняла за существо.



КАРАБАЕВА сказала сразу: «Нам очень и очень подходит». После долгих и упорных хлопот друзей Островский, уже знаменитый, наконец переселился в Москву. Предстояло осмотреть несколько квартир, но Анна Караваяева и Марк Колосов сразу же остановились на первой — в старинном особняке работы Казакова на Тверской. Поражительная причина, по которой друзья Островского приняли такое решение: «Это же исторический дом! Вот, наверное, в этой комнате гости прощались с Марией Волконской, а тут была большая зала... Нам очень и очень подходит».

Салон блестящей московской красавицы прошлого века Зинаиды Волконской. Род ее восходил к великой княгине киевской Ольге, отец писал философские сочинения, оцененные самим Кантом, а она любила игры Аполлона, по выражению Пушкина. Пушкин здесь бывал, и не раз, и он, и Вяземский, и Чаадаев, и Гоголь, и Жуковский, и Мицкевич, здесь было единственное прибежище свободомыслия в годы наступившей реакции. Марии Волконской, уезжавшей в Сибирь, устроили прощальный вечер, Пушкин принес на этот вечер свое послание сосланному — но никогда здесь не было идейно-натужно. Всегда молодое-веселое, все были влюблены друг в друга...

И он, Островский, — буфетный мальчик, кочегар, техник коммунаров, пересыщающийся колоды да сараи, «комса», «братиска», тиф, голод, узкоколейка — трудно, казалось бы, найти нечто более нескромнее с салоном, и вдруг — «очень, очень подходит»?

В доме Зинаиды Волконской и Николая Островского ныне музей. Вот книги, которые он трогал своими руками... Обычно, говоря о книгах в жизни Островского, упоминают две — «Обет» и «Грибальди». Он любил эти книги, верно, но уже в юности читал друзьям стихи

персоны, звучали стихи, музыка, было молодо и весело. Да, в доме, где жил смертельно больной человек, было молодо и весело... «После долгих часов напряженной работы, — вспоминает жена, — Николай вдруг объявлял: «А не пора ли устроить праздник?» «А танцевать? Что ж не танцевать? Давайте танцевать!»

Обратите внимание: не «танцуйте», а «давайте танцевать», а «давайте танцевать». Он вообще говорил так: «Я читал», «я пишу», «я россы в архивах» — он чувствовал себя движущимся!

Не статичным, а именно движущимся воспринимали Николая Островского и другие. Лучше всех, мне кажется, выразил это Мейерхольд: «Я его не видел лежащим, я его видел ходящим по комнате, естическую лирику. Он был, если хотите, самым здоровым из всех нас...»

Впрочем, буйная фантазия Мейерхольда обидчива. Вспомним все же кольцов-

собранный вокруг какой-либо настоящей идеи».

Вот его завет нам. Но важна не только сама идея, а то, как мы ее понимаем, толкуем, как служим ей, если, конечно, служим.

За два месяца до смерти английскому журналисту — им очень интересовались иностранные журналисты, думали, миф — он сказал: «Руководило одно — не сказать неправды». Когда обсуждали роман «Рожденные бурей», Николай Асеев высказал серьезные критические замечания. Асееву стали возражать — быть может, из жалости к умирающему. Он преврал защитников: «Правда нужна мне больше, чем жалость и доброта». «Критика — это правильное кровообращение, без нее неизбежны застои и болезненные явления» — тоже его, не наши, сегодняшние слова, а ведь так похоже на наши. Чувствовал надвигающаяся? Прев-

вестные слова о жизни человека — «она дается ему один раз...» — в черновом варианте кончались так: «...вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за идею коммунизма». Исследователи выявляют это, подчеркивая значение идеи коммунизма для Островского. Но нигде не прочла я объяснения тому, почему же в окончательном варианте этого отрывка, ставшего кредо, символом веры, «евангелием», по словам Н. Тихонова, для миллионов людей, от кубинских революционеров до Неру, — стоят иные слова: «борьбе за освобождение человечества». Считал, что это одно и то же? Хотел расширить адрес? Обращался через десятилетия к нам, вырабатывая новое мышление? Загадка.

Вообще не покидает ощущение, что, несмотря на нечеткое число слов-истолкований, что-то в этом чело-

будто пробую, затем быстрее и уверенней, начинает плясать. На него смотрят с насмешкой, потом с удивлением, и вот кто-то уже в такт потопнул сам, потом вышел на середину, еще один, другой — и вот уже голодный, раздетый, замерзающий барак в общем неистовом движении. Люди пляшут, а свет мечущихся по сцене прожекторов тревожен, а в оркестре — глухие удары барабана...

«В этих сценах была яственно ощущима трагедийность, — рассказывает Евгений Иосифович. — Да, это был спектакль о подвиге. Но подвиг трактовался не как некое озарение, не как голый и тупой энтузиазм. Подвиг — как предел человеческих сил. Через этот предел. Это было так жгуче, так потрясало!»

На просмотре зал взорвался овациями, Эйзенштейн кинулся к Евгению Самойлову, игравшему Павку: «Я только что видел настоящий ре-

ского, простреленными пулями на фронтах Отечественной, переписанными от руки в фашистских тюрьмах, выпущенной в блокадном Ленинграде, должна лежать и эта книга, побывавшая в сталинской тюрьме. Меня попросили сообщить имя человека, который ввел в оборот неизвестное письмо Николая Островского. Сообщаю: Т. Каменева, мауэный сотрудник Центрального архива ВЛКСМ. Сегодня, думаю, не одно это письмо Островского должно наконец «войти в оборот». Была на трехдневном совещании-семинаре сотрудников всех музеев Островского страны, созванном по инициативе московского музея. Листаю блокнот: «Тут сплошные дыры — там ничего неизвестно». «Заглядывали и обузили мы его», «Хватит нам врать».

Оказывается, многие детали биографии Островского скрылись: и то, что отец был сидельцем в винной лавке, а кто-то из родных — священником, и то, что какие-то родственники есть за границей (в Европе, жилая и чешская его кровь). Многие подлинно и роману: «Мы вспоминаете лей наваливали, что бо говорил, как в книге». Многие просто неизвестно. На совещании гремел голос верного друга Петра Новикова: «До чего

на Тверскую, 14. «Рот фронт, товарищи!» — сказал Островский.

Фогелер был сдержанным человеком, только, когда рисовал Дзержинского на смертном одре, разрыдался. Но от Островского он вернувшись в сильном возбуждении. И долго, мучительно работал над портретом. Когда Фогелер умирал — в Казахстане, во время войны, в ссылке, от голода, — он нежно давил улыбку. «Чему вы улыбаетесь?» — спросили его. «Я вспоминаю мои любимые картины». «Мне почему-то кажется», — писала Елена Врусова, — что он вспоминал и портрет Островского».

Уже была и написана статья, и напечатана, мы звонили в музей, и не раз — а портрет не выставляли. Мы говорили: Фогелера уже не было — ли — в 33-м году, в фашистской Германии, специальным решением рейхсфюрера СС... Нам объяснили: экспозиция утверждена, в ее основу положен принцип: что касается живописи, один Яр-Кравченко, как наиболее точно отражающий суть Островского, и работы, написанные зубами, ногой или вслепую, — т. е. принадлежние корчагинцам. Почему-то мы до сих пор под корчагинцами понимаем в первую очередь людей с физическими увечьями... Та хранильница фондов ныне уволена. В музее многое уже изменилось — здесь сейчас работают люди, стремящиеся оживить Островского — и когда я пришла сюда спустя 14 лет, мне сказали: «Вы знаете, Островского писал сам Фогелер. Вот этот портрет!»

Вот этот портрет. Ничего от фанатика, от истины в последней инстанции, от разрушенной болезни, которых Островский так не хотел признавать. Но не слишком ли мягко, задумчив и даже грустен? Я спрашиваю об этом у Петра Николаевича Новикова: «Нет!» — убежденно говорит тот. — Островский был добрым, мягким человеком. Его часто обманывали, а он все равно оставался доверчивым... Мягкий — и сталь?

Расставаясь со школярскими представлениями трудно...

Последние написанные им строки — матери.

«Милая матушка!»

Да, он, перевернувший своей жизнью и своим романом все старые этические представления, он, ставший символом нового, рожденного на глазах мира, он, писавший свою книгу языком летучих приказов, митингов и революционных команд, называл свою ласковую и серьезную маму этими старинными песенными словами «милая матушка».

На него шумным водопадом обрушились слова. Он знал, что весь — на виду. И, враг всяческих сантиментов, подписал телеграмму матери так: «Будь здорова, голубка».

Вместе со слабой он переехал в новый дом, жил на улице собственного имени, в гараже стоял автомобиль, он привозил в дом людей, чьими делами гордилась страна. А в этом, последнем письме он писал: «В личной жизни — ты единственное мое богатство».

Сразу после обращения такие слова: «Данное мною Центральному Комитету комсомола слово — закончить книгу к 15 декабря — я выполняю». Слова «матушка» и «комсомол» рядом. Он любил идею по-сыновьи нежно и матери предан по-стальному — как самой идее. Быть может, эта его неделимость и есть то главное, чему мы должны у него учиться...

Быть преданным идее — не значит быть обступанным ею до голой ветки. Голая ветка не плодоносит. Он же создал книгу, которой суждено было породить мир.

«Сам ли Островский написал

ОДНА ЖИЗНЬ И два портрета Николая Островского



ские «футляр», «мумию», «столб»... Но вот сидит передо мной Петр Новиков и со свойственным ему темпераментом и прямотой с возмущением рассказывает об одном современном спектакле, где Островский все время лежит неподвижно: «Представляет? Все три действия неподвижно, это он-то!»

Но был, оказывается, и такой спектакль, где Островский — бежит! В театре-студии О. Табакова, поставленный В. Фокиным в 78-м году. Но это вызвало гнев и неудовольствие чиновников.

Только движущийся, а не застывший идеал воспринимаем.

«Я очень изменился?» — спросил он Маргу Пуринь после долгой разлуки. «Да», — ответила она, — ты стал образцовым человеком». «Я имел однодневную беседу со Львом Толстым, много беседовал с Антоном Чеховым и Николаем Островским я ставлю третьим, — сказал Мейерхольд. — Такая необычная культура, такое необычайное проникновение в правду жизни, такая способность понимать, что такое искусство».

Согласитесь — такого Островского мы знаем плохо.

ОН ЛЕЖАЛ на жесткой железной койке, в узкой и длинной, как пенал, комнате, переполненной жильцами квартиры в бывшем барском доме, в старом переулке близ Арбата. В переулке ломали дома — шла великая перестройка, — в окна его комнаты летела цементная пыль и оседала на белых узких обрезках бумаги, которые приносила вечером жена с чайной фабрики. Бумага лежала на полусогнутых коленях — до конца колени не разгибались. Это трудно себе представить, но он благодурил судьбу за то, что болезнью, приковав его к постели, так согнула его колени. Иначе он не смог бы писать.

Он писал ночью — все равно ведь и днем не мог увидеть того, что писал. Он мог

дупреждал? Зайдя в 32-м в Мертвый переулок и увидев Николая, друг, знавший его еще в 18-м, отметил, что Николай остался таким же, как в дни юности. Каким же? «Так же возмущался несправедливостью и фальшью», «Двоудущия не выносила», — свидетельствует и жена.

Крохотная, но характерная деталь — на фронте среди стариков ходила примета: кто прикурит гретым — того убьют. Он разубеждал на словах — тем, что сам всегда прикуривал третьим.

Собравшись вокруг идеи, он саму жизнь стремился сделать аргументом в ее защиту.

век ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Таинственного характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исследовке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского велел за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал

волюционный порыв!» «Торжественная трагедия», — скажут о спектакле «Одна жизнь» уже в наши дни. Трагедийность, жертвенность эпохи мы хорошо видим сегодня. Но тогда — «Жить стало лучше, жить стало веселее»... Спектакль запретили, театр закрылся, Мейерхольда арестовали. А потом и расстреляли.

Мейерхольд ухватился тогда за Островского, как за якорь: его, первого режиссера-коммуниста, жестко стали критиковать за отступничество от революционного театра. Он ухватился за «Одну жизнь», как за якорь, но выплыть не смог — треб явно против течения. «Состояние героя Островского, полного сил и желания действовать, по опрокинутому навзничь, его поиски выхода для Мейерхольда в чем-то было и состоянием самой партии».

Это соображение Евгения Иосифовича кажется мне несколько осовремененным. Спектакль об Островском — спектакль-вызов? Сопротивление? Но ведь Мейерхольд, как недавно написали, видел, впрочем, и Михаил Кольцов одним из первых написал о Сталине, и Островский если и упоминал это имя, то только в одном, принятом тогда, смысле. Легко их судить нам, сегодняшним, с высоты нашего знания и со столь далекой дистанции...

Но Габрилович настаивает на своем утверждении: «Мы сегодня слишком плоско воспринимаем состояние мысли тех лет. Да, если судить по заголовкам газет, по речам, по протоколам — все шло по команде. Но, поверьте мне, — далеко не все были догматиками! Свидетельство — была духовная жизнь!»

«В предвкушении успеха и в жажде славы», — как подтрунивает ныне над собой Евгений Иосифович, он подлился тогда на газетные вырезки о спектакле «Одна

дойти — неизвестно, какую узкоколейку строил Островский? А ведь сколько об этой узкоколейке сказано и написано!»

Фанатики создают не жизнь. Фанатики создают легенды. В 1937 году Новиков приехал в Киевские ремонтные мастерские, чтобы записать знавших Островского, — и очутился в милиции, раньше до этого донагиваться было не безопасно. А сейчас-то?.. Но не только научной биографии Н. Островского, нет полного академического собрания его сочинений (председатель комиссии по литературному наследию Анатолий Иванов), сами мы узкоколейщики, вот в чем дело. Создавали не подлинный портрет — лик. И оттолкнули... За последние 20 лет — ни одной диссертации, нет всеобщего дня Островского, не идут спектакли о нем.

Впрочем, может, это, последнее, к лучшему. Евгений Габрилович сказал мне на прощание, что потом он видел и фильмы, и пьесы по Островскому, и не одну — «везде это, знаете, комсомольско-бодяческое начало». С самим Николаем Островским Габрилович не был знаком: «Но я знаю, художник, человек, так страстно влюбленный в литературу, не мог быть ни аскетом, ни бодячком-фанатиком. Плоским, без обертон».

«Плоский, как тарелка», — вспомнилось мне выражение Петра Новикова. О портрете его великого друга — единственного приближенном, как утверждал художник.

К СЧАСТЬЮ, художник Яр-Кравченко ошибался.

В 1974 г. вышла книга воспоминаний Рансы Порфирьевны Островской. Немалый срок — четырнадцать лет, но хорошо помню ощущение некоего шока: читала книгу и вдруг наткнулась на строки: «Живописный портрет работы Фогелера...» Как, есть еще портрет? Почему же он не в музее? И неужто тот самый Фогелер? Один из лучших представителей стиля «модерн» — имя его входит во все учебники по этому направлению искусства...

Но в мушкетере что-то живет. Да. Тонкие кисти рук — только кисти — чуть-чуть шевелятся. Они влажные при пожатии...

Живет и лицо. Страдания подсудили его черты, стерли краски, заострили углы...

Жестко-точное описание это принадлежит Михаилу Кольцову. Именно с очерка Кольцова в «Правде», в 35-м году, началась всеобщая, а потом и мировая слава Николая Островского. Он не мог не быть благодарен Кольцову. Но его друг Новиков вспоминает сейчас, как больно задело Николая это слово — «мушкетер». Он будто предчувствовал время, когда для многих он и в самом деле станет мушкетером. И как мог сопротивлялся этому.

Однажды, недовольный некоторыми семейными сценами романа, один из критиков того времени написал, что они, эти сцены, способствуют «разжижению гранитной фигуры Павки Корчагина». Островский назвал статью «вульгарной»: «Сердечно болел, однако отвечу ударом сабли».

Гранит годится для памятника. А он хотел, чтоб мы чувствовали его живым.

Он уже работал над второй частью романа, но нет-нет да и просил прочесть ему тот или иной эпизод из давно готового к печати. Мария Барц, одна из добровольных секретарей, оставила нам то, что его беспокоило: «По-человечески ли получилось? Не дубочно? Не слишком ли ортодоксален Павел Корчагин? Не плакаты ли?».

Он будто страшился, что ортодоксальность, плакатность и дубочность заглушат от многих его самого.

Недавно по телевидению была передача, посвященная Святославу Федорову, блестящему врачу-офтальмологу и не менее блестящему организатору. Мы сидели за обеденным столом, так его на западных манер часто называют. И выглядел он не менее суперменом того же толка — увлечен подсчетом прибилиз, скачет на собственной лошади, дает интервью, и т.д.

Одна из сотрудниц музея Николая Островского призналась, что дружить-поэты, с которыми учился, узнав, что она пошла работать в этот музей, в недоумении пожалы плачами: «Ты воспитанная женщина, Пастернак и Мандельштам».

Но только ли их вина в том, что эти имена в нашем восприятии не соединяются, существуют раздельно и даже, судя по всему, для некоторых исключают друг друга?

Как известно, многим великим людям больше всего нарядили их душеприказчики.

В воспоминаниях жены Островского, Раисы Порфирьевны, читаешь при имени Николая Островского я... вижу не монументальные скульптуры, не героев соответствующих фильмов и даже не то лицо, которое чаще всего смотрит на читателя с массивных страниц «Воскресения» и «Познания» Корчагина». Читая и смотря на обложку этой книги — вопреки подсказке человека, который знал Островского лучше всех, — с этой обложки смотрит не разрывавшийся человек, Точнее, болезненно сморщенное. Неодвижное лицо. Как истина в последней инстанции. Как догма. Кому-то, видно, очень хотелось, чтоб мы знали его только таким.

В недавно опубликованной в газете «Известия» статье Э. Казанкина «Воскресение» есть очень важные рассуждения о том, как «стали скрывать от народа» Ленина — «за его же портретами, за цитатами из его произведений, за кинофильмами из его же жизни...». «Все делалось для того, чтоб ленинский дух заменить мертвой буквой, живой образ — иконописью. Так же, как плохие учителя ухитряются в школе выводить у учеников таинную иезуитскую «Путь» и т.д.». «Все делалось для того, чтоб ленинский дух заменить мертвой буквой, живой образ — иконописью. Так же, как плохие учителя ухитряются в школе выводить у учеников таинную иезуитскую «Путь» и т.д.»

Прочтите в школьном учебнике раздел об Островском — «по-человечески ли получилось», как спрашивал он сам? Увы — литературоведческие ссылки, обычно оснащенные восхитительными знаками, погребли человеческие. Как признался Лев Аннинский, «книга Островского исчезла в моем сознании под этими веритамми». Это уме не о школе — о вузе. И — было уми от инерции. «Пробить» ему удалось — умная мизант, трепетная книга вышла из-под его пера. «Обрученный с идеей» — лучшее, что написано за последние десятилетия об Островском. Но тщетно будет выискать ее в списке рекомендованной литературы в школьном учебнике. Рекомендуют совсем иное — каноническое,

КАРАВАЕВА сказала сразу: «Нам очень и очень подходит». После долгих и упорных хлопот друзей Островский, уже знаменитый, наконец переселился в Москву. Предстояло осмотреть несколько квартир, но Анна Караваява и Марк Колосов сразу же остановились на первой — в старинном особняке работы Казакова на Тверской. Поразительна причина, по которой друзья Островского приняли такое решение: «Это же исторический дом! Вот, наверное, в этой комнате гости прощались с Мариной Волконской, а тут была большая зала... Нам очень и очень подходит».

Салон блестящей московской красавицы прошлого века Зинаиды Волконской. Род ее восходил к великой княгине киевской Ольге, отец писал философские сочинения, оцененные самим Кантом, а она любила «игры Аполлона», по выражению Пушкина. Пушкин здесь бывал, и не раз, и он, и Вяземский, и Чаадаев, и Гоголь, и Жуковский, и Мицкевич, здесь было единственное прибежище свободомыслия в годы наступившей реакции. Марии Волконской, уезжавшей в Сибирь, устроили прощальный вечер, Пушкин принес на этот вечер свое последнее послание — но никогда здесь не было идейно-наутжно. Всегда молодое-веселое, все были влюблены друг в друга...

И он, Островский, — буфетный мальчик, кочегар, техник коммунальца, пересчитывающий колоды да сараи, «комса», «братишка», тиф, голод, заколелайка — трудно, казалось бы, найти нечто более несхожее с салоном, и вдруг — «очень, очень подходит»?

В доме Зинаиды Волконской и Николая Островского ныне музей. Вот книги, которые он трогал своими руками... Обычно, говоря о книгах в жизни Островского, упоминают две — «Обор» и «Грибляди». Он любил эти книги, верно, но уже в юности читал друзьям стихи Бродяева — ныне и иной филолог их не знает наизусть. В его библиотеке не две — две тысячи книг. В этом доме библиотека создавалась с детства. Составлялась так: посылает мама в лавку за седелкой, он седелку несет за хвост, а лист из журнала, в который ее завернул, он складывает в сумку. А когда он создавал библиотеку, составлялась так: посылает мама в лавку за седелкой, он седелку несет за хвост, а лист из журнала, в который ее завернул, он складывает в сумку. А когда он создавал библиотеку, составлялась так: посылает мама в лавку за седелкой, он седелку несет за хвост, а лист из журнала, в который ее завернул, он складывает в сумку.

В музее много нот. Бетховен и Чайковский, Глинка и Римский-Корсаков, Шопен и Рахманинов. В их описи пометка: «Собственность Островского». Мальчишкой он слушал роль под чужими именами. Став писателем, оставил роль рядом с криватом. Ему играл композитор С. Кац и К. Данкевич, пели солисты Большого С. Хромченко и П. Лисицян, теперь на вечерах в этом музее поет дочь Лисицяна, а «Лос» — это милая критика, была похвала и похвалой 20-х годов. Кажется, эта комсомолька была бы тут уместной — но поселилась она, дама с камелиями...

Стереотипы мешают воспринимать жизнь во всей ее полнокровной сложности. Вот фото Бориса Пастернака. Рядом. «Великая поэзия есть обязательная часть коммунизма», — убежден был Андрей Платонов.

И век спустя в этом доме собирались поэты, писатели, музыканты, в гости к Островскому приходили Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд, Мате Залка и Серафимович, Валерий Чкалов и Вронислава Мархлевская. Конечно, не салон — но стоял стол на 24

ские «футляр», «мушкетер», «столб»... Но вот сидит передо мной Петр Новиков и со свойственным ему темпераментом и прямотой с возмущением рассказывает об одном современном спектакле, где Островский все время лежит неподвижно: «Представляете? Все три действия неподвижен, это он-то!»

Но был, оказывается, и такой спектакль, где Островский — бежит! В театре-студии О. Табакова, поставленный В. Фокиным в 78м году. Но это вызвало гнев и неудовольствие чиновников.

Только движущийся, а не застывший идеал воспринимаем.

«Я очень изменился?» — спросил он Маргу Пуринь после долгой разлуки. «Да», — ответила она, — ты стал образованным человеком». «Я имел однодневную беседу с Львом Толстым, много беседовал с Антоном Чеховым и Николаем Островским я ставлю третьим», — сказал Мейерхольд. — Такая необычная культура, такое необычайное проникновение в правду жизни, такая способность понимать, что такое искусство».

Согласитесь — такого Островского мы знаем плохо. ОН ЛЕЖАЛ на жесткой железной койке, в узкой и длинной, как пенал, комнате, переполненной жильцами квартиры в бывшем барском доме, в старом переулке близ Арбата. В переулке ломали дома — шла великая перестройка, — в окна его комнаты летела цементная пыль и оседала на белых узких обрезках бумаги, которые приносила вечером жена с чайной полусогнутых коленях — до конца колени не разгибались. Это трудно себе представить, но он благодарил судьбу за то, что болезнь, принося его к постели, так согнула его колени. Иначе он не смог бы писать.

Он писал ночью — все равно ведь и днем не мог увидеть того, что писал. Он мог писать только ночью, когда в квартире наконец устанавливалась тишина. Ему было 27, и всего через пять лет мертвая тишина обнимет его навеки.

Уходя от нас, человек оставляет после себя то, с чем связывают потомки его имя. И это верно — при одном условии. Если не уходит из нашей памяти те детали бытия, которые только по нашей узости могут считаться несуществующими.

Мы иногда забываем, а то и просто не знаем, что Островский победил не только болезнью. Узкую, как пенал, комнату в переулке с названием «Мертвый» он воспринимал как великий дар судьбы — квартирные его мытарства могли бы согнуть в дугу и не самого слабого. А постоянное безденежье, тот «чайевой» паек, на который он долгое время был обречен? А бездумные чиновники от партии, вычеркнутых Островского из ее рядов, когда он провалился в болезнь? Ведь Островский считался не пропавшим чистку партии! А потеря самой бригады Котовского? А исчезновение первого экземпляра «Стали»? А первый, самый первый и полностью отрицательный отзыв на роман? Характерны упреки редакторов — типы нереальные, Тоню Таманову надо перевоспитать, мало показано подвигов на фронте... А глухое молчание критики — в то уже время, когда за Павкой Корчагиным выстраивались очереди в библиотеках, когда роман читали на комсомольских собраниях?

А в Мертвом переулке родился человек, ставшая символом бессмертия. Скажите, — спросила его однажды, — если бы не коммунизм, вы могли бы так же перенести свое положение? — Никогда! — ответил он. Семен Трегуб написал за ним: «Человек живет не по частям: брюхом, печенью, полом, а целиком... Человек делается человеком, если он



дупреждал? Зайда в 32-м в Мертвый переулок и увидел Николая, друг, знавший его еще в 18-м, отметил, что Николай остался таким же, как в дни юности. Каким же? «Так же возмущался несправедливостью и фальшью». «Двоудушия не выносил», — свидетельствует и жена.

Крохотная, но характерная деталь — на фронте средине стариков ходила примета: кто прикурит гретым — того убьют. Он разубеждал не словами — тем, что сам всегда прикуривал гретым.

Собравшись вокруг идеи, он саму свою жизнь стремился сделать аргументом в ее защиту.

Когда я спросила у Петра Носикова, как он познакомился с Николаем Островским, тот ответил: «Ночью, случайно, на вокзале». Случай сводил с ним вместе, но оставались они в его жизни отнюдь не случайными. Конечно, общение — это характер. Когда-то маленький Коля Островский сказал о сестре: «Я не могу оставить Надю. Она без меня задремлет. Она говорит, что я ее согреваю, как углен». Он умел согреть людей, умел их радовать, был живым, остроумным собеседником. И все же в первую очередь они тянулись к нему потому, что он выражал дорогую им всем идею наиболее полно и чисто. Роза Ляжкович, зашедшая к нему в Сочи передать привет от Петра Носикова, — ехала дальше на лечение, но осталась, — стала заниматься Островским, позабыв про свою болезнь, и написала Носикову: «Я бесконечно тебе благодарна... что ты дал мне возможность встретить такую хорошую, чистую, кристальную душу». Сегодня, когда мы говорим о необходимости преодоления отчуждения идеи от общечеловеческих ценностей, от нравственного, духовного, благородного, мне кажется очень важным выявить ту первоначальную цельность, которая была в Островском.

В самом скором времени — через месяц и шесть дней — умирает Островский. «Над его гробом», — скажет мне Габрилович. — Мейерхольд поклялся поставить «Как закалялась сталь» во что бы то ни стало».

Клятве, данной над гробом, не суждено было сбыться. Какого же Островского запретили? Какой не устранил? Был не угоден?

Евгений Иосифович Габрилович — чуть согнутая голами спина, но глаза живые, умные, с молодым блеском — говорит: «Спектакль произволил потрясать впечатление». Ему запомнились две сны. Обреченный на неподвижность, слепой Корчагин тем не менее встает и начинает идти к окружающим, — знал, что отпущено очень мало времени, — вдруг однажды бросил писать и несколько дней не мог переписать себя. Умер мальчик, просто сосед по квартире... Когда болезнь опрочидывала его в забытие, приходил в себя, спрашивал: «Я не стонал?» И успокаивался, получая отрицательный ответ. Но было, было и другое! Однажды, переизжая из санатория домой, на казачьей фуре, каждый поворот колеса которой причинял нетерпимую боль, теряя сознание, прошептал жене: «Не оставь меня...» Вспомнивая о тяжелом ранении, о кончущейся жизни, он говорил мне Габрилович, — а вся она шептала выхода, понимаете? Могло ли это понравиться тогда?

Еще эпизод. Зима. Холод. Барак. Барак спит мертвым сном. А надо работать — прокладывать дорожку. Никакие слова не могут уже поднять людей: они смертельно устали, голодные, злы — разуверились. И тогда Павка, сначала медленно,

уже ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Тайна характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исповедничке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского вслед за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал интервью «Комсомольской правде», вот она, эта газета, передо мной, в старой подшивке, рядом передавая: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — знаменитые сталинские слова... Мейерхольд, судя по ответам на вопросы газеты, уверен, бодр — Островский дает им свободу, забывает лишь о донесении «большей правды романа» и безусловно настаивая на сохранении лирических сцен. Заканчивается интервью словами: «Эту нашу работу мы рассчитываем показать в самом скором времени».

В самом скором времени — через месяц и шесть дней — умирает Островский. «Над его гробом», — скажет мне Габрилович. — Мейерхольд поклялся поставить «Как закалялась сталь» во что бы то ни стало».

Клятве, данной над гробом, не суждено было сбыться. Какого же Островского запретили? Какой не устранил? Был не угоден?

Евгений Иосифович Габрилович — чуть согнутая голами спина, но глаза живые, умные, с молодым блеском — говорит: «Спектакль произволил потрясать впечатление».

Ему запомнились две сны. Обреченный на неподвижность, слепой Корчагин тем не менее встает и начинает идти к окружающим, — знал, что отпущено очень мало времени, — вдруг однажды бросил писать и несколько дней не мог переписать себя. Умер мальчик, просто сосед по квартире... Когда болезнь опрочидывала его в забытие, приходил в себя, спрашивал: «Я не стонал?» И успокаивался, получая отрицательный ответ. Но было, было и другое! Однажды, переизжая из санатория домой, на казачьей фуре, каждый поворот колеса которой причинял нетерпимую боль, теряя сознание, прошептал жене: «Не оставь меня...» Вспомнивая о тяжелом ранении, о кончущейся жизни, он говорил мне Габрилович, — а вся она шептала выхода, понимаете? Могло ли это понравиться тогда?

Еще эпизод. Зима. Холод. Барак. Барак спит мертвым сном. А надо работать — прокладывать дорожку. Никакие слова не могут уже поднять людей: они смертельно устали, голодные, злы — разуверились. И тогда Павка, сначала медленно,

уже ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Тайна характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исповедничке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского вслед за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал интервью «Комсомольской правде», вот она, эта газета, передо мной, в старой подшивке, рядом передавая: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — знаменитые сталинские слова... Мейерхольд, судя по ответам на вопросы газеты, уверен, бодр — Островский дает им свободу, забывает лишь о донесении «большей правды романа» и безусловно настаивая на сохранении лирических сцен. Заканчивается интервью словами: «Эту нашу работу мы рассчитываем показать в самом скором времени».

В самом скором времени — через месяц и шесть дней — умирает Островский. «Над его гробом», — скажет мне Габрилович. — Мейерхольд поклялся поставить «Как закалялась сталь» во что бы то ни стало».

Клятве, данной над гробом, не суждено было сбыться. Какого же Островского запретили? Какой не устранил? Был не угоден?

Евгений Иосифович Габрилович — чуть согнутая голами спина, но глаза живые, умные, с молодым блеском — говорит: «Спектакль произволил потрясать впечатление».

Ему запомнились две сны. Обреченный на неподвижность, слепой Корчагин тем не менее встает и начинает идти к окружающим, — знал, что отпущено очень мало времени, — вдруг однажды бросил писать и несколько дней не мог переписать себя. Умер мальчик, просто сосед по квартире... Когда болезнь опрочидывала его в забытие, приходил в себя, спрашивал: «Я не стонал?» И успокаивался, получая отрицательный ответ. Но было, было и другое! Однажды, переизжая из санатория домой, на казачьей фуре, каждый поворот колеса которой причинял нетерпимую боль, теряя сознание, прошептал жене: «Не оставь меня...» Вспомнивая о тяжелом ранении, о кончущейся жизни, он говорил мне Габрилович, — а вся она шептала выхода, понимаете? Могло ли это понравиться тогда?

Еще эпизод. Зима. Холод. Барак. Барак спит мертвым сном. А надо работать — прокладывать дорожку. Никакие слова не могут уже поднять людей: они смертельно устали, голодные, злы — разуверились. И тогда Павка, сначала медленно,

уже ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Тайна характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исповедничке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского вслед за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал интервью «Комсомольской правде», вот она, эта газета, передо мной, в старой подшивке, рядом передавая: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — знаменитые сталинские слова... Мейерхольд, судя по ответам на вопросы газеты, уверен, бодр — Островский дает им свободу, забывает лишь о донесении «большей правды романа» и безусловно настаивая на сохранении лирических сцен. Заканчивается интервью словами: «Эту нашу работу мы рассчитываем показать в самом скором времени».

уже ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Тайна характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исповедничке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского вслед за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал интервью «Комсомольской правде», вот она, эта газета, передо мной, в старой подшивке, рядом передавая: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — знаменитые сталинские слова... Мейерхольд, судя по ответам на вопросы газеты, уверен, бодр — Островский дает им свободу, забывает лишь о донесении «большей правды романа» и безусловно настаивая на сохранении лирических сцен. Заканчивается интервью словами: «Эту нашу работу мы рассчитываем показать в самом скором времени».

В самом скором времени — через месяц и шесть дней — умирает Островский. «Над его гробом», — скажет мне Габрилович. — Мейерхольд поклялся поставить «Как закалялась сталь» во что бы то ни стало».

Клятве, данной над гробом, не суждено было сбыться. Какого же Островского запретили? Какой не устранил? Был не угоден?

Евгений Иосифович Габрилович — чуть согнутая голами спина, но глаза живые, умные, с молодым блеском — говорит: «Спектакль произволил потрясать впечатление».

Ему запомнились две сны. Обреченный на неподвижность, слепой Корчагин тем не менее встает и начинает идти к окружающим, — знал, что отпущено очень мало времени, — вдруг однажды бросил писать и несколько дней не мог переписать себя. Умер мальчик, просто сосед по квартире... Когда болезнь опрочидывала его в забытие, приходил в себя, спрашивал: «Я не стонал?» И успокаивался, получая отрицательный ответ. Но было, было и другое! Однажды, переизжая из санатория домой, на казачьей фуре, каждый поворот колеса которой причинял нетерпимую боль, теряя сознание, прошептал жене: «Не оставь меня...» Вспомнивая о тяжелом ранении, о кончущейся жизни, он говорил мне Габрилович, — а вся она шептала выхода, понимаете? Могло ли это понравиться тогда?

Еще эпизод. Зима. Холод. Барак. Барак спит мертвым сном. А надо работать — прокладывать дорожку. Никакие слова не могут уже поднять людей: они смертельно устали, голодные, злы — разуверились. И тогда Павка, сначала медленно,

уже ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Тайна характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исповедничке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского вслед за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал интервью «Комсомольской правде», вот она, эта газета, передо мной, в старой подшивке, рядом передавая: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — знаменитые сталинские слова... Мейерхольд, судя по ответам на вопросы газеты, уверен, бодр — Островский дает им свободу, забывает лишь о донесении «большей правды романа» и безусловно настаивая на сохранении лирических сцен. Заканчивается интервью словами: «Эту нашу работу мы рассчитываем показать в самом скором времени».

уже ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Тайна характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исповедничке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского вслед за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал интервью «Комсомольской правде», вот она, эта газета, передо мной, в старой подшивке, рядом передавая: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — знаменитые сталинские слова... Мейерхольд, судя по ответам на вопросы газеты, уверен, бодр — Островский дает им свободу, забывает лишь о донесении «большей правды романа» и безусловно настаивая на сохранении лирических сцен. Заканчивается интервью словами: «Эту нашу работу мы рассчитываем показать в самом скором времени».

В самом скором времени — через месяц и шесть дней — умирает Островский. «Над его гробом», — скажет мне Габрилович. — Мейерхольд поклялся поставить «Как закалялась сталь» во что бы то ни стало».

Клятве, данной над гробом, не суждено было сбыться. Какого же Островского запретили? Какой не устранил? Был не угоден?

Евгений Иосифович Габрилович — чуть согнутая голами спина, но глаза живые, умные, с молодым блеском — говорит: «Спектакль произволил потрясать впечатление».

Ему запомнились две сны. Обреченный на неподвижность, слепой Корчагин тем не менее встает и начинает идти к окружающим, — знал, что отпущено очень мало времени, — вдруг однажды бросил писать и несколько дней не мог переписать себя. Умер мальчик, просто сосед по квартире... Когда болезнь опрочидывала его в забытие, приходил в себя, спрашивал: «Я не стонал?» И успокаивался, получая отрицательный ответ. Но было, было и другое! Однажды, переизжая из санатория домой, на казачьей фуре, каждый поворот колеса которой причинял нетерпимую боль, теряя сознание, прошептал жене: «Не оставь меня...» Вспомнивая о тяжелом ранении, о кончущейся жизни, он говорил мне Габрилович, — а вся она шептала выхода, понимаете? Могло ли это понравиться тогда?

Еще эпизод. Зима. Холод. Барак. Барак спит мертвым сном. А надо работать — прокладывать дорожку. Никакие слова не могут уже поднять людей: они смертельно устали, голодные, злы — разуверились. И тогда Павка, сначала медленно,

уже ускользает от нас. Есть в нем нечто до конца не понятное или не прочувствованное, какая-то таинственная неисчерпаемость. Даже близкий друг, Миша Финкельштейн, признался: «Тайна характера Николая Островского остается до конца не раскрытой».

ЕДУ к Габриловичу. Хочу понять, почему был запрещен спектакль по его исповедничке романа Островского, поставленный Мейерхольдом. Те свои дорогие стоящие слова о месте Островского вслед за Толстым и Чеховым Мейерхольд сказал на первой репетиции спектакля, весной 1936 года. В ноябре он дал интервью «Комсомольской правде», вот она, эта газета, передо мной, в старой подшивке, рядом передавая: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — знаменитые сталинские слова... Мейерхольд, судя по ответам на вопросы газеты, уверен, бодр — Островский дает им свободу, забывает лишь о донесении «большей правды романа» и безусловно настаивая на сохранении лирических сцен. Заканчивается интервью словами: «Эту нашу работу мы рассчитываем показать в самом скором времени».

Инна РУДЕНКО.